

Еще не связанный заботой,  
Пускался юноша в свой путь!  
Как он легко вперед стремился!  
Что для счастливца тяжело?  
Какой воздушный рой теснился  
Вкруг светлого пути его!  
Любовь с улыбкой благосклонной  
И счастье с золотым венцом,  
И слава с звездною короной  
И в свете истина живом...\*

Могучая сила  
В душе их кипит;  
На бледных ланитах  
Румянец горит;  
Их очи, как звезды  
По небу, блестят;  
Их думы — как тучи;  
Их речи горят.  
И с неба, и с время  
Покровы сняты...  
Шумна их беседа  
Разумно идет;  
Роскошная младость  
Здоровьем цветет...\*\*

И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева.

## СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

«Московский наблюдатель» был передан в распоряжение друзей Станкевича уже тогда, когда материальные средства к продолжению издания были совершенно истощены и только бескорыстная энергия новых сотрудников могла продлить еще на год существование журнала, доведенного до гибели прежнею редакцией. Но этот последний, слишком краткий, период жизни «Московского наблюдателя» был таков, что никогда еще ничего подобного, за исключением разве последних книжек «Телескопа», не бывало в русской журналистике. Даже «Телеграф» в свое лучшее время не был так проникнут единством задушевной мысли, не был одушевлен таким пламенным стремлением служить истине и искусству; и если бывали у нас до

---

\* «Идеалы» Шиллера, перевод К. Аксакова, «Московский наблюдатель», т. XVI, стр. 543.

\*\* Из стихотворения Кольцова в память Станкевича<sup>15</sup>.

того времени альманахи и журналы, имевшие гораздо большее число сотрудников, уже пользовавшихся громкою знаменитостью, как, например, «Библиотека для чтения» в 1834, пушкинский «Современник»<sup>16</sup> в 1836 году, то никогда еще не соединялось в русском журнале столько истинно замечательных дарований, столько истинного знания и неподдельной поэзии, как в «Московском наблюдателе» второй редакции (томы XVI, XVII и XVIII прежней нумерации и томы I и II новой). В 1838—1839 годах новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти совершенно неизвестными; но почти все они оказались людьми сильными и даровитыми, почти каждому из них суждено было составить себе прочную, благородную, безукоризненную известность в нашей литературе, а некоторым и приобрести блестящую славу; будущность принадлежала им, как и теперь настоящее принадлежит им и тем людям, которые впоследствии прикнули к ним.

«Московский наблюдатель» менее известен, нежели «Телеграф» и «Телескоп»; потому не излишне будет, прежде нежели говорить подробно об его учено-критических воззрениях, сказать два-три слова об общей физиономии последних томов журнала, изданных людьми нового поколения, деятельность которых теперь занимает нас.

До того времени, когда решительное влияние Гоголя на молодые таланты обратило большинство даровитых писателей к предпочтению прозаической формы рассказа, стихотворения были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московский наблюдатель» не имел между своими сотрудниками Пушкина, как альманахи 1823—1833 годов или первые годы «Библиотеки» и (пушкинского) «Современника». Но если взять поэтический отдел «Наблюдателя» весь вместе и сравнить его с тем, что представляла наша поэзия в прежних столь знаменитых ею альманахах и в самом пушкинском «Современнике» (не говоря уже о «Библиотеке», далеко уступавшей в этом отношении «Современнику», «Северным цветам» и проч.), то нельзя не признать, что по отделу поэзии «Московский наблюдатель» был гораздо выше всех прежних наших журналов и альманахов, где, кроме произведений Пушкина и переводов Жуковского, только немногие стихотворения возвышаются над уровнем бесцветной и пустой посредственности, между тем как в «Московском наблюдателе» мы почти не найдем стихотворений, которых нельзя

было бы с удовольствием прочитать и ныне, а напротив, кроме дивных созданий Кольцова, многие другие пьесы остаются до сих пор замечательны и прекрасны\*.

---

\* Кроме стихотворений Кольцова, в «Московском наблюдателе» помещались:

Переводы из Гете и Шиллера г. К. С. Аксакова, которого надобно назвать одним из лучших наших поэтов-переводчиков. Мнение, иногда высказываемое ныне, будто стих этих переводов был тяжел, не совершенно основательно; нам кажется, напротив, что мало найдется таких прекрасных и поэтических переводов, как, например, следующая пьеса из Гете («М[осковский] н[аблюдатель]» XVI, 92):

#### НА ОЗЕРЕ

Как освежается душа  
И кровь течет быстрее!  
О, как природа хороша!  
Я на груди у ней!

Качает наш челнок волна,  
В лад с нею весла бьют.  
И горы в мшистых пеленах  
Навстречу нам встают.

Что же, мой взор, опускаешься ты?  
Вы ли опять, золотые мечты?  
О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!  
Здесь все так любовью и жизнью полно!

Светлою толпою  
Звезды в волнах глядят  
Туманы грядую  
На дальних высях ложатся;  
Ветер утра качает  
Деревья над зеркалом вод;  
Тихо отражает  
Озеро спеющий плод.

Приводя это стихотворение, мы имеем целью не только представить доказательство, что не напрасно причисляем переводы г. К. Аксакова, в «М[осковском] н[аблюдателе]» к произведениям, имеющим положительное достоинство: для нас «На озере» послужит поэтическим выражением самой характеристической особенности того мирозерцания, которое господствовало в «Московском наблюдателе».

Переводы г. Каткова из Гейне и отрывки из его прекрасного перевода «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Стихотворения Ключникова (— Θ —) и нескольких других более ли менее замечательных талантов.

Стихотворения Красова, который был едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: они очень заслуживают того, и напрасно мы забываем об этом замечательном поэте.

Мало того, что из многочисленных стихотворений, помещенных в «Московском наблюдателе» второй редакции, только разве немногие могут быть названы слабыми — достоинство, которым не мог похвалиться до того времени ни один из наших журналов, — есть в этой массе пьес другое качество, еще более новое для того времени: пустых стихотворений в ней не найдется решительно ни одного, каждая лирическая пьеса действительно проникнута чувством и мыслью, так что стихотворный отдел «Московского наблюдателя» не может быть и сравниваем с тем, что встречаем в других тогдашних журналах.

Беллетристикою журналы не могли тогда похвалиться: хороших повестей писалось очень мало, потому что всего три-четыре человека умели тогда писать прозою так, что их произведения можно теперь перечитывать без улыбки. Но и по отделу беллетристики «Московский наблюдатель» был едва ли не выше всех остальных своих собратий, печатая повести Нестроева (г. Кудрявцева), за которыми должно остаться одно из самых первых мест в истории возникновения нашей изящной прозаической литературы. В настоящей статье не место оценивать талант Нестроева: это мы надеемся сделать впоследствии<sup>17</sup>; но в том нет сомнения, что повести его по своему художественному достоинству должны были занять в истории русской прозы почетное место. Нестроев — писатель с дарованием самостоятельным и сильным, каких тогда было очень немного, или, лучше сказать, почти вовсе не было, кроме таких колоссальных талантов, как Пушкин, Гоголь и Лермонтов.

Таким образом, изящная словесность в «Московском наблюдателе» замечательна по художественному достоинству; но еще гораздо интереснее она в том отношении, что служит вообще верным и полным отражением принципов, одушевлявших общество молодых людей, которые собрались вокруг Станкевича. До того времени только очень немногие из наших поэтов и нувеллистов умели приводить смысл своих произведений в гармонию с идеями, которые казались им справедливы: обыкновенно повести или стихотворения имели очень мало отношения с так называемым «миросозерцанием» автора, если только автор имел какое-нибудь «миросозерцание». В пример, укажем на повести Марлинского, в которых самый внимательный розыск не откроет ни малейших следов принципов, которые, без сомнения, были дороги их автору, как человеку. Обыкновенно жизнь и возбуждаемые ею убеждения были сами по себе, а поэзия сама по себе: связь

между писателем и человеком была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо в качестве литераторов, часто заботились только о теориях изящного, а вовсе не о смысле своих произведений, не о том, чтобы «провести живую идею» в художественном создании (как любила выражаться критика гоголевского периода). Этим недостатком — отсутствием связи между жизненными убеждениями автора и его произведениями — страдала вся наша литература до того времени, когда влияние Гоголя и Белинского преобразовало ее. Литературный отдел «Московского наблюдателя» является едва ли не первым зародышем постоянной гармонии убеждений человека со смыслом его художественных произведений, — той гармонии, которая ныне владычествует в нашей литературе и придает ей силу и жизнь. Молодые поэты и беллетристы, участвовавшие в этом журнале, писали именно о том, что их занимало, а не о каких-нибудь сюжетах, навеянных другими поэтами, смысл которых оставался, бывало, совершенно непонятен для подражателей, очень усердно копировавших внешнюю сторону иностранных произведений: они понимали то, что писали, — качество, которое очень редко замечается у прежних наших литераторов. Из этого общего правила писать произведения, или не имеющие живого смысла, или произведения, смысл которых остается непостижимой тайною для самого автора, исключений бывало очень мало, и «Московский наблюдатель» — первый журнал, в котором мысль и поэзия гармонируют между собою, и в литературном отделе которого постоянно отражаются сознательные стремления. Это первый в ряду таких журналов, какие имеем мы теперь, в которых поэзия, беллетристика и критика согласно идут к одной цели, поддерживая друг друга. Глубокая потребность истины и добра, с одной стороны, с другой — свежая и здоровая готовность любить все, что действительная жизнь представляет удовлетворительного, предпочтение действительной жизни отвлеченному фантазированию, с одной стороны, с другой — чрезвычайное сочувствие тому, что в стремлениях фантазии является здоровым отражением истинной потребности полного наслаждения действительною жизнью, — эти основные черты критической мысли «Московского наблюдателя» составляют существенный характер и литературного отдела в этом журнале. Стремления, одушевляющие его поэзию и беллетику, видимо проникнуты философскою мыслью, которая владычествует над всем.

Действительно, философское мировоззрение нераздельно властвовало над умами в том дружеском кружке, органом которого были последние томы «Московского наблюдателя». Эти люди решительно жили только философией, день и ночь толковали о ней, когда сходились вместе, на все смотрели, все решали с философской точки зрения. То была первая пора знакомства нашего с Гегелем, и энтузиазм, возбужденный новыми для нас, глубокими истинами, с изумительною силою диалектики развитыми в системе этого мыслителя, на некоторое время натурально должен был взять верх над всеми остальными стремлениями людей молодого поколения, сознавших на себе обязанность быть провозвестниками неведомой у нас истины, все озаряющей, как им казалось в пылу первого увлечения, все примиряющей, дающей человеку и невозмутимый внутренний мир и бодрую силу для внешней деятельности. Главное значение «Московского наблюдателя» состоит в том, что он был органом гегелевой философии.

Философские стремления теперь почти забыты нашею литературою и критикою. Мы не хотим решать, насколько литература и критика выиграли от этой забывчивости, — кажется, не выиграли ровно ничего, потеряв очень много; но как бы ни решал кто вопрос о значении философского мировоззрения для настоящего времени, каждый согласится, что господство философии над всею умственною нашею деятельностью в начале настоящего периода нашей литературы есть замечательный исторический факт, заслуживающий внимательного изучения. «Московский наблюдатель» представляет первую эпоху этого владычества философии, когда непогрешительным истолкователем ее представлялся Гегель, когда каждое слово Гегеля являлось несомненною истиною и каждое изречение великого учителя принималось его новыми учениками в буквальном смысле, когда не было еще ни заботы о проверке этих истин, ни предчувствия, что Гегель был непоследователен, противоречил сам себе на каждом шагу, что, принимая его принципы, последовательному мыслителю надобно притти к выводам, совершенно различным от выставленных им выводов. Позднее, когда это было замечено, фальшивые выводы были отвергнуты лучшими из бывших последователей Гегеля у нас, и немецкая философия явилась совершенно в другом свете. Но то была уже другая эпоха — эпоха «Отечественных записок»<sup>18</sup>, и мы будем говорить о ней в следующей статье, а теперь посмотрим, какою была

гегелева система, пламенным проповедником которой был «Московский наблюдатель».

Программой журнала была первая статья его — предисловие к переводу «Гимназических речей Гегеля» («М[осковский] н[аблюдатель]», XVI, стр. 5—20)<sup>19</sup> Мы приводим в выноске существенные места из этого предисловия, присоединяя к ним объяснение технических терминов гегелевского языка, которые могли бы затруднить тех читателей, которые не привыкли к этой терминологии: они, надеемся, увидят, что дело было очень просто и понятно и что различные толки о мнимой темноте гегелевой философии — чистый предрассудок: нужно только знать смысл нескольких технических слов, и трансцендентальная философия становится для людей нашего времени ясна и проста\*.

---

\* Ум — только одна из способностей человека; знание — только одно из его стремлений; потому одно умствование об отвлеченных вопросах не удовлетворяет человека: он хочет также любить и жить, не только знать, но и наслаждаться, не только мыслить, но и действовать. Ныне это понятно каждому — таков дух века, такова сила времени, все объясняющего. Но в XVII веке наука была делом кабинетных тружеников, которые знали только книги, думали только об ученых вопросах, чуждаясь жизни и не понимая житейских дел. Когда жизнь, в XVIII веке, предъявила свои права с такою силою, что пробудила даже немецких ученых, они увидели недостаточность прежней философской методы, основывавшей все на умозаклечениях, принимавшей мерою всему отвлеченные понятия. Но не могли они одним шагом перейти из пыльного кабинета на форум жизни; они были еще слишком далеки от мысли, что все естественные способности и стремления человека должны действовать, должны помогать друг другу в разрешении вопросов науки и жизни. Им показалось, что довольно будет изменить методу умозаклчений, оставляя по-прежнему и сердце и тело человека без внимания. Они думали, что ум не обнимал живую истину во всей ее полноте не потому, что одной головы, без груди и рук, без сердца и осязания, недостаточно человеку; они задумали попробовать, не удастся ли голове обойтись без помощи остальных членов живого организма, если только голова возьмется за дела, которые принадлежат сердцу, желудку и рукам, — и голова, действительно, придумала «спекулятивное мышление». Сущность этой попытки состояла в том, что ум старался, отвергая отвлеченные понятия, мыслить по так называемым «конкретным» понятиям, — например, думая о человеке, основывать свои заключения не на прежней фразе: «человек есть существо, одаренное разумом», но на понятии о действительном человеке, с руками и ногами, с сердцем и желудком. Это был большой шаг вперед. Гегель является последним и важнейшим из мыслителей, остановившихся на этом первом фазисе превращения кабинетного ученого в живого человека. Конечно, система, основанная на этом способе замещения прежних отвлеченных понятий более живыми воззрениями, была гораздо свежее и полнее прежних, совершенно отвлеченных систем, занимавшихся не людьми, каковы люди в действительности, а призраками, которые созданы прежнею методю мышления, отвергавшею в человеке вся-

Содержание гегелевой философии, в том виде, как изложена она у самого Гегеля и как до мельчайших подробностей принималась за бесспорную истину друзьями Станкевича в 1838—1839 годах, кажется совершенною противоположностью тому образу мыслей, который с таким жаром и успехом излагался потом критиком гоголевского периода в «Отечественных записках» (1840—1846) и нашем журнале (1847—1848); оттого и статьи «Московского наблюдателя», написанные Белинским и его товарищами по убеждениям под исключительным влиянием сочинений Гегеля, представляются, на первый взгляд,

---

кие способности и стремления, кроме ума, и из всех органов человеческого существа признававшего достойным своего внимания только мозг. Потому «трансцендентальное» или «спекулятивное» мышление (стремящееся основывать свои умозаключения на понятии о действительных предметах) справедливо гордилось тем, что оно гораздо живее прежней схоластической методы, и старинный метод основывать все на отвлеченных понятиях был заклеен прозванием «призрачного мышления», принадлежащего «отвлеченному уму, или рассудку» (Verstand).<sup>20</sup> Все понятия и выводы, составленные на основании этого «отвлеченного, призрачного мышления», были опозорены именем «призрачных понятий», «призрачных выводов», и ученики Гегеля с презрением говорили о всех тех философах, которые строили свои системы не на основании «спекулятивного мышления»: эти люди, по мнению Гегеля и его последователей, не заслуживают даже имени философов, а их системы — «призрачные построения», в которых вместо живой истины даются «отвлеченные призраки». Особенному негодованию подвергалась французская философия, которая, совершив свое дело, перестала занимать сильные умы, стала занятием фантазеров и болтунов и, действительно, жалким образом измелывала и опоплилась при Наполеоне и во время Реставрации. Тогда во Франции, действительно, каждый под философию понимал всякий вздор, какой только приходил в голову, и, по произволу перемешивая этот вздор с торопливо набранными чужими мыслями, провозглашал себя гением и творцом новой философской системы. Против этих-то фантазий, чуждых научного достоинства, преимущественно и направлено предисловие к речам Гегеля, служащее программой «Московского наблюдателя». Вот существенные места из этой программы:

«Кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с утвердительною о том, что такое истина и в чем заключается истина? Всякий хочет иметь свою собственную, партикулярную систему; кто не думает по-своему, по своему личному произволу, тот не имеет самостоятельного духа, тот бесцветный человек; кто не выдумал своей собственной идейки, тот не гений, в том нет глубокомыслия, а нынче, куда вы не обернетесь, везде встречаете гениев. И что ж выдумали эти гении-самозванцы, какой плод их глубокомысленных идей и взглядов, что двинули они вперед, что сделали они действительно?

«Шумим, братец, шумим», — отвечает за них Репетиллов в комедии Грибоедова. Да, шум, пустая болтовня — вот единственный результат этой ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную болезнь нашего нового поколения, отвлеченного, призрачного, чуждого



совершенно противоречащими статьям, которые тот же самый Белинский писал через несколько лет. Это разноречие зависит, как мы сказали, от двойственности самой системы Гегеля, от разноречия между ее принципами и ее выводами, духом и содержанием. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но не достало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия. Он провидел истину, но только в самых

---

всякой действительности; и весь этот шум, вся эта болтовня происходит во имя философии. И мудрено ли, что умный, действительный русский народ не позволяет ослеплять себя этим фейерверчным огнем слов без содержания и мыслей без смысла? мудрено ли, что он не доверяет философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны? До сих пор философия и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой действительности были тождественны: кто занимается философией, тот необходимо протиснулся с действительностью и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах, или вооружается против действительного мира и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных (*ограниченных, односторонних*) положений (*суждений*) его конечного (*ограниченного, одностороннего, отвлеченного*) рассудка и конечных целей его конечного произвола заключается все благо человечества, и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности (*личности*)... Жизнь его есть ряд беспрестанных мучений, беспрестанных разочарований, борьба без выхода и конца, — и это внутреннее распадение, эта внутренняя разорванность есть необходимое следствие отвлеченности и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного и который превращает всякую жизнь в смерть. И еще раз повторяю: общая недоверчивость к философии весьма основательна, потому что то, что нам выдавали до сих пор за философию, разрушает человека, вместо того, чтобы оживлять его, вместо того, чтобы образовать из него полезного и действительного члена общества.

Начало этого зла скрывается в реформации. Когда назначение папизма — заменить недостаток внутреннего центра внешним центром — кончилось... реформация потрясла его авторитет... пробужденный ум, освободившись от пеленок авторитета, отделившись от действительного мира и погрузившись в самого себя, захотел вывести все из самого себя, найти начало и основу знания в самом себе... Но ум человеческий, только что пробудившийся от долгого сна, не мог вдруг познать истину: действительный мир истины был не по силам ему, он еще не дорос до него и должен был необходимо пройти чрез долгий путь испытаний, борьбы и страданий, прежде чем достиг своей возмужалости; истина не дается даром: нет! она есть плод тяжких страданий, долгого мучительного стремления... Результатом философии рассудка было (в Германии, у Фихте) разрушение всякой объективности, всякой действительности и погружение отвлеченного пустого Я в самолюбивое эгоистическое са-

общих, отвлеченных, вовсе неопределительных очертаниях; увидеть ее лицом к лицу досталось на долю только уже следующему поколению. И не только выводов из своих принципов не мог он сделать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были для

---

мозозерцание, разрушение всякой любви, а следовательно и всякой жизни, и всякой возможности блаженства... Но германский народ слишком силен, слишком действителен для того, чтобы сделаться жертвою призрака... Система Гегеля венчала долгое стремление ума к действительности:

Что действительно, то разумно; и  
Что разумно, то действительно, —

вот основа философии Гегеля.

Обратимся теперь к Франции и посмотрим, каким образом проявилось в ней это разъединение Я с действительностью... Рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все действительное. Вся жизнь Франции есть не что иное, как сознание своей пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем бы то ни было, и все средства, употребляемые ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны... французы *(когда принимают философов)* превращают всякую истину в пустые, бессмысленные фразы, в произвольность и анархию мышления и в стряпанье новых идеск...

Эта болезнь распространилась, к несчастью, и у нас... Пустота нашего воспитания есть главная причина призрачности нашего нового поколения. Вместо того, чтобы разжигать в молодом человеке искру божью... вместо того, чтобы образовать в нем глубокое эстетическое чувство, которое спасает человека от всех грязных сторон жизни, — вместо всего этого, его наполняют пустыми, бессмысленными французскими фразами... Вместо того, чтобы приучать молодой ум к действительному труду, вместо того, чтоб разжигать в нем любовь к знанию... его приучают к пренебрежению трудом... Вот источник нашей общей болезни, нашей призрачности! Разверните какое вам угодно собрание русских стихотворений и посмотрите, что составляет пищу для ежедневного вдохновения наших самозванцев-поэтов...

Один объявляет, что он не верит в жизнь, что он разочарован; другой, что он не верит дружбе; третий, что он не верит любви...

Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий источник жизни одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть главная задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны; что в знании царствует строгая дисциплина, и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною русскою действительностью, и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными русскими людьми».

него туманны. Следующее поколение мыслителей сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей своей полноте и ясности; тогда колебаниям не осталось места, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные в науку непоследовательностью Гегеля в развитии основных положений, были устранены, и содержание приведено в гармонию с основными истинами. Таков был ход дела в Германии, таков же был он и у нас. Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки<sup>21</sup>

Пересмотрим же теперь те принципы гегелевой философии, которые могуществом и истинностью своею увлекли людей «Московского наблюдателя» до такой степени, что, в пылу энтузиазма, возбужденного этими высокими стремлениями, были забыты на время все остальные требования разума и жизни, было принято все содержание системы, хвалившейся тем, что она основана на этих глубоких истинах.

Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем, действительно, были очень близки к истине, и некоторые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно поразительною силою. Из этих истин, открытие иных составляет личную заслугу Гегеля; другие, хотя и принадлежат не исключительно его системе, а всей немецкой философии со времен Канта и Фихте, но никем до Гегеля не были формулированы так ясно и высказываемы так сильно, как в его системе.

Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще, и в особенности гегелева система, от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что не истинно;

первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина — верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времени Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе как затем, чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением», философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое предохранительное средство против поплзновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обзирать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места

и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулой: «отвлеченной истины нет; истина конкретна», т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассматривая все обстоятельства, от которых он зависит\*.

Само собою разумеется, что это беглое исчисление некоторых принципов гегелевой философии не может дать понятия о поразительном впечатлении, которое производят творения великого философа, который в свое время увлекал самых недоверчивых учеников необыкновенною силою и возвышенностью мысли, покоряющей своему владычеству все области бытия, открывающей в каждой сфере жизни тождество законов природы и истории с своим собственным законом диалектического развития, обнимающей все факты религии, искусства, точных наук, государственного и частного права, истории и психологии сетью систематического единства, так что все является объясненным и примиренным. Время той философии, последним и величайшим представителем которой был Ге-

---

\* Например: «благо или зло дождь?» — это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: «после того как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ так же ясен и так же справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в гегелевой философии все вопросы. «Нагубна или благотворна война?» Вообще, нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких народов пред войны менее чувствительны, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; маратонская битва была благотворнейшим событием в истории человечества. Таков смысл аксиомы: «отвлеченной истины нет; истина конкретна» — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни).

гель, прошло для Германии. При помощи результатов, выработанных ею, наука сделала, как мы сказали, шаг вперед; но новая наука эта явилась только как дальнейшее развитие гегелевой системы, которая навсегда сохранит историческое значение, как переход от отвлеченной науки к науке жизни.

Таково было значение гегелевой философии у нас: она послужила переходом от бесплодных схоластических умствований, граничивших с апатиею <и невежеством>, к простому и светлому взгляду на литературу и жизнь, потому что в ее принципах заключались, как мы старались показать, зародыши этого взгляда. Пылкие и решительные умы, как Белинский и некоторые другие, не могли долго удовлетворяться теми узкими выводами, которыми ограничивалось приложение этих принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они недостаточность и самых принципов этого мыслителя. Тогда, отказавшись от прежней безусловной веры в его систему, они пошли вперед, не останавливаясь, как остановился Гегель, на половине дороги. Но навсегда сохранили они уважение к его философии, которой в самом деле были обязаны очень многим.

Но мы уже говорили, что содержание системы Гегеля совершенно не соответствует тем принципам, которые провозглашались ею, и которые мы указали. В пылу первого увлечения Белинский и его друзья не заметили этого внутреннего противоречия, и ненатурально было бы, если б оно было замечено ими с первого же раза: оно чрезвычайно хорошо прикрыто необычайною силою гегелевой диалектики, так что в самой Германии только самые зрелые и сильные умы и только после долгого изучения заметили это внутреннее несогласие основных идей Гегеля с его выводами. Величайшие из современных немецких мыслителей, не уступающие самому Гегелю гениальностью, долго были безусловными приверженцами всех его мнений, и много времени прошло, пока они успели возвратить себе самостоятельность и, открыв ошибки Гегеля, положить основание новому направлению в науке. Так всегда бывает: сам Гегель долго был безусловным поклонником Шеллинга, Шеллинг — поклонником Фихте, Фихте — Канта; Спиноза, далеко превосходивший гениальностью Декарта, очень долго считал себя его вернейшим учеником.

Мы все это говорим к тому, чтобы показать естественность и необходимость безусловной приверженности к Ге-

гелю, на некоторое время овладевшей Белинским и его друзьями. Они в этом случае разделяли общую участь величайших мыслителей нашего времени. И если потом Белинский негодовал на себя за прежнее безусловное увлечение Гегелем, то и в этом случае имеет он товарищей, не уступающих силою ума ни ему, ни Гегелю\*.

Все немецкие философы, от Канта до Гегеля, страдают тем же самым недостатком, какой мы указали в системе Гегеля: выводы, делаемые ими из полагаемых ими принципов, совершенно не соответствуют принципам. Общие идеи у них глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и отчасти даже пошловаты. Но ни у кого из них эта противоположность не доходит до такого колоссального противоречия, как у Гегеля, который, превосходя всех своих предшественников возвышенностью начал, оказывается, едва ли не слабее всех в своих выводах. И в Германии, и у нас люди ограниченные и апатичные успокоились на выводах, забывая о принципах; но и у нас, как в Германии, эти ученики, слишком верные букве и потому неверные духу, нашлись только между людьми второстепенными, лишенными сил на историческую деятельность и не могшими иметь никакого влияния. Напротив, и у нас, как в Германии, все истинно даровитые и сильные люди, когда прошло первое увлечение, отбросили фальшивые выводы, радостно жертвуя ошибками учителя требованиям

---

\* Один из современных мыслителей говорит о своих прежних сочинениях, написанных в духе Гегеля: «этой путаницы теперь не могу я никак распутать; остается одно: или совершенно зачеркнуть ее, или оставить в прежнем виде — предпочитаю последнее: многие до сих пор еще считают мудростью то, что и мне казалось мудростью, когда я писал эти сочинения, — пусть же они, перечитывая их, видят путь, которым я дошел до своих настоящих убеждений — по моим следам этим людям легче будет дойти до истины». Точно так же и мы должны думать о статьях, писанных Белинским в 1838—1839 годах: кто не в состоянии разделять зрелых и самостоятельных убеждений Белинского, какие выражал он в последнее время, тому принесет пользу чтение его статей в хронологическом порядке, начиная с тех, которыми сам Белинский впоследствии был недоволен: кто стоит еще слишком низко, тому необходимы лестницы, чтобы стать в уровень с своим веком.

Кстати заметим, что в настоящей статье мы пользовались воспоминаниями, которые сообщил нам один из ближайших друзей Белинского, г. А., и потому ручаемся за совершенную точность фактов, о которых упоминаем. Мы надеемся, что интересные воспоминания г. А — а со временем сделаются известны нашей публике, и спешим предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не более, как развитием его мыслей. За ту помощь, какую оказали нам его воспоминания при составлении настоящей статьи, мы обязаны принести здесь искреннейшую благодарность глубокоуважаемому нами г. А — у<sup>22</sup>.



науки, и бодро пошли вперед. Потому ошибки Гегеля, подобно ошибкам Канта, не имели важных последствий, между тем, как здоровая часть его учения действовала очень плодотворно.

Мы нарушили бы закон исторической перспективы, если бы стали говорить о предмете, не имевшем исторической важности, каковы ошибки Гегеля, с такою же подробностью, как о тех его идеях, которые оказали сильное влияние на ход умственного развития. Но так как эти ошибки все-таки исторический факт, хотя и маловажный, то мы не можем совершенно умолчать о них. Ниже читатели увидят в одной из приводимых нами выписок, в чем состояла сущность этих ошибок. Здесь мы должны только повторить, что друзья Станкевича разделяли заблуждение со всеми замечательнейшими немецкими мыслителями современного им поколения: на некоторое время гениальная диалектика Гегеля ослепила всех, так что выводы, противоречившие принципам, всеми принимались ради этих принципов, будто необходимое их следствие.

Нельзя не признаться, что и в Германии и у нас люди, принимавшие все содержание гегелевой системы за чистую истину, вовлекались этим авторитетом во многие и очень важные заблуждения. Нимало не защищая того, что действительно было дурного в этих ошибках, надобно, однако ж, заметить, что двадцать лет назад не все то было действительно вредным заблуждением, что ныне было бы непростительным ослеплением: для многих мнений, которые в наше время были бы решительно несправедливыми предубеждениями, тогда еще существовали дельные основания,— быть может, односторонние, быть может, несколько устаревшие, но все-таки заключающие в себе много справедливого. Укажем один пример. Строгие приверженцы немецкой философии со времен Канта, особенно строгие гегелианцы, презирали и отчасти даже ненавидели все французское. Друзья Станкевича разделяли это отвращение, и «Московский наблюдатель» весь проникнут «французоедством» (*Franzosenfresserei*), как выражались немцы. Французоедству посвящены многие страницы предисловия к гегелевским речам, служащего, как мы видели, программой журнала. В примечании мы приводим одну из таких страниц\*. И нельзя не сказать, что

---

\* «Французы никогда не выходили из области произвольных рассуждений, и все святое, великое и благородное в жизни упало под ударами слепого мертвого рассудка. Результатом французского философизма был материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во французском



«Московский наблюдатель», ревностно выполняя все другие пункты своей программы, не менее ревностно выполнял и этот пункт. Он пользовался каждым случаем, каждым предложением, чтобы произнести грозную филиппику или вставить презрительную выходку против французов. Говорит ли он, например, в разборе «Современника» о статье Пушкина «Мильтон», — главное внимание он обращает на те эпизоды, в которых Пушкин подсмеивается над французами — тотчас же выписываются насмешки над Альфредом де-Виньи и Виктором Гюго, замечания о недостатках мольеровых комедий, и т. д., — за то и прибавляет «Московский наблюдатель», что у Пушкина «был верный взгляд на искусство и бесконечное эстетическое чувство». Разбирается ли другой том «Современника», в котором есть отрывок из «Хроники русского в Париже»<sup>23</sup>, — почти вся рецензия состоит из выписок тех страниц «Хроники», которые особенно неблагоприятны для французов. Разбирается ли роман г. Вельтмана «Вир-

народе исчезла последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непреходящее доказательство любви творца к творению, сделалось предметом общих насмешек, общего презрения, и бедный рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что только было ему недоступно, а ему недоступно все истинное и все действительное. Он требовал ясности — но какой ясности! — не той, которая лежит в глубине предмета: нет, — а на поверхности его; он вздумал объяснить религию — и религия, недоступная для конечных усилий его, исчезла и унесла с собою счастье и спокойствие Франции; он вздумал превратить святилище науки в общенародное знание — и таинственный смысл истинного знания скрылся, и остались одни пошлые, бесплодные, призрачные рассуждения, — и Жан-Жак Руссо объявил, что просвещенный человек есть развращенное животное, и революция была необходимым последствием этого духовного развращения. Где нет религии, там не может быть государства, и революция была отрицанием всякого государства, всякого законного порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть несколько возвышалось над мысленною толпою.

В «Последнем повоселыи» Лермонтов буквально переложил эти слова в стихи:

Негодование и чувству дав свободу

Мне хочется сказать великому народу:

«Ты жалкий и пустой народ!

Ты жалок потому, что вера, слава, гений,

Все, все великое, священное земли,

С насмешкой глупою ребяческих сомнений

Тобой растоптано в пыли.

Из славы сделал ты игрушку лицемерья,

Из волнкости — орудье палача,

И все заветные отцовские поверья

Ты им рубил, рубил с плеча...»

гиния» — оказывается, что этот роман можно похвалить только за одно: «многие черты французского верхоглядства схвачены в нем превратно»; говорится ли о «Сборнике на 1838 год» — в этом сборнике очень много стихов, и отчасти даже хороших стихов, но интереснее всего в нем перевод эпиграммы Шиллера, в которой французы называются вандалами. Выписав это стихотворение и похвалив за него Шиллера, критик торжественно восклицает, обращаясь к читателям:

Французы вандалы!!! — слышите ли?

Для большей знаменательности это восклицание напечатано даже отдельною строкою, что и соблюли мы. Говорится ли о возвращении молодых профессоров наших из-за границы — приятнее всего «Московскому наблюдателю» то, что они слушали лекции в Берлине, а не в Париже. Нечего и говорить, пользуется ли «Московский наблюдатель» случаем изобличить французское фразерство и легкомыслие, когда является перевод «Истории Франции» Мишле... тут филиппика достигает страшной беспощадности: едва некоторые специальные ученые получают за свои специальные труды прощение в том, что они французы, — но французские литераторы, поэты, мыслители, все казнятся без всякой милости, от девицы Скюдери до Мишле, от Ронсара до Лерминье. Общего приговора избегает только Беранже, «гуляка праздный»: праздная гуляба — французское дело, об этом они умеют складывать веселенькие песенки, — лучшего у них не нужно и искать. Одним словом, о чем бы речь ни шла, «Московский наблюдатель» таки найдет предлог поразить или кольнуть французов, и общим выводом из всей этой неутомимой полемики выставляется заключение, что, между тем как «влияние немцев на нас благотельно во многих отношениях, — и со стороны науки, и со стороны искусства, и со стороны духовно-нравственной, с французами мы находимся в обратном отношении: мы враждебно-противоположны с ними по сущности нашего национального духа» («Моск[овский] набл[удатель]», том XVIII, стр. 200).

Ныне, когда лучшие из французов отказываются от заносчивых претензий, от презрения к другим народам, когда вся нация оставляет свое прежнее легкомыслие, оставляет даже фразерство, которым так долго жила, когда национальная жизнь обратилась к разрешению истинно-глубоких вопросов, подобная вражда против французов была бы совершенно неосновательна. Но тогда настроение

умов во Франции было совершенно не таково. Те направления мысли, которые ныне приобретают Франции сочувствие серьезных людей, едва только начинали еще обнаруживаться, и притом в странных, еще не определившихся <фантастических> формах, не оказывали еще никакого влияния на жизнь нации, напротив, были осмеиваемы литературою, презираемы государственною жизнью. Все, чем блистала Франция времен первой Империи и Реставрации, было фальшиво и поверхностно или противоречило истинным потребностям нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумении с одной стороны, на обмане или насилии — с другой. В литературе, например, господствовали две школы, равно фальшивые: одна, — в духе Шатобриана и Ламартина, накидывала на себя маску искусственных восторгов учениями, которых не понимала и о которых в сущности очень мало заботилась; другая накидывала на себя маску утонченной развращенности и мелкого сатанинства (*école satanique*<sup>24</sup>). Те, которые не были лицемерами идеализма или цинизма, болтали о пустяках. Только Беранже составлял исключение, но Беранже не понимали, считая его не более как певцом гризеток. В науке понятия страшно измельчали, — ученые знаменитости тогдашнего времени были шарлатаны и фразеры, хлопотавшие о примирении непримиримого, об оправдании наукою предрассудков, о сочетании научной истины с произвольными фантазиями. Время теперь обнаружило, что за люди были и чего хотели Кузен, Гизо, Тьер; а они были еще самыми лучшими из тогдашних знаменитостей.

Кстати, припомним, что такое был знаменитый тогда «либерализм», за который особенно прославлялись эти знаменитости. События обнаружили пустоту и решительную бесполезность этого либерализма, хлопотавшего только об отвлеченных правах, а не о благе народа, самое понятие о котором оставалось ему чуждо. У лучших проповедников его это было легкомысленное заблуждение относительно истинных потребностей нации; другие пользовались этим так называемым либерализмом как приманкою для привлечения нации на свою удочку, — а для чего нужно было им привлечь нацию, оказалось потом, когда они успели захватить власть: они искали власти для того, чтобы набить себе карманы.

Таково было положение Франции и во время Реставрации и в первые годы орлеанской династии. Повсюду

гремели фразы, лишённые смысла, во всем владычествовали легкомыслие и обман. Но более всего должны были возмущаться люди с горячими убеждениями и высокими принципами тем, что у тогдашних французских знаменитостей не было ни решительных принципов, ни строгой последовательности в образе мыслей: всему, чему они верили, верили они только наполовину, робко и церемонно, все, что отрицали, отрицали также только наполовину, все это были люди вроде тех, которых изображал у нас Пушкин в своих героях, — вроде тех, которых Лермонтов заставляет говорить:

Богаты мы, едва из колыбели.  
Ошибками отцов и поздним их умом...

К добру и злу постыдно равнодушны,  
В начале поприща мы вянем без борьбы...

Тая завистливо от ближних и друзей  
Надежды лучшие и голос благородный  
Неверием осмеянных страстей.

Едва касались мы до чаши наслажденья,  
Но юных сил мы тем не сберегли;  
Из каждой радости, бояся пресыщенья,  
Мы лучший сок навеки извлекли...

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни зlobe, ни любви,  
И царствует в душе какой-то холод тайны"

От этих бессильных в своем узком и пресыщенном эгоизме людей, конечно, нельзя было надеяться ничего хорошего; от этих вырожденков, оставшихся после великой внутренней борьбы, которая поглотила все благороднейшие силы французского народа<sup>26</sup>, конечно, нельзя было ожидать, чтоб они влили новую жизнь в свой народ; они не должны были служить идеалами для нас, чувствовавших в себе избыток свежих, еще нетронутых сил. К таким людям, конечно, не могло лежать сердце пламенных юношей, готовых и любить до самоотвержения и ненавидеть смертельно, жаждавших деятельности и блага. Вражда усиливалась особенно тем, что эти разочарованные, блазированные, проеденные эгоизмом люди считались у нас оракулами: все у нас кричали о французах, все восхищались французами, — а ни для себя, ни тем более для нас французы такого разбора не были ровно ни на что годны. Нам нужен был энтузиазм, перед нами было широкое поле деятельности: как же не возненавидеть было этих людей,

которые могли передать нам только свое бессилие, разочарование и бездействие?

Нелюбовь, заслуженная французами времен первой Империи и Реставрации, незаслуженным образом распространялась и на их предков, и столь же незаслуженным образом подвергались общему осуждению свежие направления мысли, возникавшие в молодом поколении мыслителей, не имевших ничего общего с прежними знаменитостями, людей с твердыми и возвышенными убеждениями, со свежими силами. Виною этой несправедливости был отчасти недостаток знакомства с возникавшими во французской литературе новыми стремлениями, отчасти также и предубеждение, составившееся против всех вообще французов, — а более всего — безусловное поклонение гегелевой системе, как верховной и единственной истине, вне которой ничто не заслуживает внимания.

Поклонение Гегелю в кругу друзей Станкевича доходило, как мы сказали, до крайности, в которой люди талантливые, одаренные самостоятельным умом и стремившиеся вперед не могли долго оставаться. Признаки бессознательного недовольства системой, которую продолжали восхищаться, обнаружились в даровитейших членах дружеского круга тем, что они говорили в гегелевском смысле решительнее и беспощаднее, нежели сам Гегель, сделались, как говорится, ревностнейшими гегелианцами, нежели сам Гегель. Особенно отличался этим Белинский, который вообще был не таков, чтобы отказываться от логических выводов из боязни уклониться от точных слов какого бы то ни было авторитета. Это свидетельство людей, знавших его лично, подтверждается многими его страницами, написанными совершенно в духе Гегеля, но с такою решительностью, которой не одобрил бы сам Гегель. Да и вообще Гегель, говорящий обо всем с беспристрастием поседевшего мудреца, смотрящий на все исключительно глазами кабинетного ученого, чуждого волнениям жизни, не мог долго удерживать в безусловной покорности такого пламенного, проникнутого жизненными стремлениями двадцатипятилетнего человека, как Белинский. Натуры учителя и ученика, потребности двух различных обществ, среди которых они действовали, были слишком несогласны. Белинский скоро отбросил все, что в учении Гегеля могло стеснять его мысль, и вскоре после переезда в Петербург является уже действителем совершенно самостоятельным.

Два обстоятельства помогли этому переходу, необхо-

димому по натуре самого Белинского, совершиться быстрее, нежели совершился бы он без этих обстоятельств: сближение друзей Станкевича с г. Огаревым и его друзьями<sup>27</sup> и переезд Белинского из Москвы в Петербург.

Первоначальные влияния, под которыми совершалось развитие г. Огарева и его друзей, были совершенно различны от влияний, которым подчинялся кружок Станкевича. Немецкая философия мало их занимала, как предмет слишком отвлеченный. Их внимание было устремлено на те науки, которые имеют непосредственное отношение к жизни наций. В то время во Франции возникали, как противоречие бездушному и убийственному учению экономистов, новые теории национального благосостояния<sup>28</sup>. Идеи, одушевлявшие новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и предубежденным или руководившимся своекорыстными побуждениями противникам легко было, оставляя без внимания здравые и высокие основные идеи новых теоретиков и выставя в утрированном виде мечтательные увлечения, которых в начале не избегает ни одна новая наука, осмеивать системы, им ненавистные. Но под видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались в этих системах истины и глубокие и благодетельные. Огромное большинство и ученых людей и европейской публики, поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели понять смысла новой науки, все смеялись над несбыточными утопиями и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно изучать их. Г. Огарев и его друзья занялись этими вопросами, понимая чрезвычайную их важность для жизни. С тем вместе, внимание г. Огарева и его друзей было занято историею, особенно новейшею, то есть именно важнейшею для жизни частью ее; и так как в последнее время главным театром исторического развития была Франция, то они интересовались преимущественно ее историею. В литературе они также не отдавали безусловного предпочтения немцам, зная и ценя французских новых писателей, которые тогда еще не господствовали в литературе, но уже доказали, что будут господствовать над нею. Под влиянием этих занятий составились у них твердые и последовательные учено-литературные убеждения.

Таким образом, деятели молодого поколения в Москве были разделены на два кружка, с двумя различными направлениями: в одном господствовала гегелева философия, в другом — занятия современными вопросами истори-

ческой жизни. Много было пунктов, в которых два эти направления могли сталкиваться враждебно; но под видимую противоположность таилось существенное тождество стремлений, несогласных между собою только в том, что было у каждого из них односторонностью, недостатком, но одинаково ставивших себе целью деятельность, плодотворную для развития русского общества, одинаково считавших единственным средством для достижения этой цели оживление нашей литературы и возбуждение нашей мыслительной деятельности, одинаково имевших свой идеал в будущем, а не в прошедшем, относившихся между собою, как теория и практика, которые должны служить взаимным дополнением. Важный вопрос: победит ли чувство существенного единства, или противоречие во второстепенных, но, однако ж, очень важных вопросах, должен был разрешиться так или иначе, смотря по тому, действительно ли люди, служившие представителями этих различных направлений, достойны были сделаться замечательными деятелями в истории развития русского общества, и действительно ли принципы, их воодушевлявшие, были плодотворны. История говорит нам, что обыкновенное явление при падении принципа — непримиримая вражда между его приверженцами из-за второстепенных вопросов, а при развитии принципа — дружное действие людей, согласных в главном, как бы ни были важны второстепенные вопросы, их разделяющие. Отвержение узкого самолюбия, готовность признать правду, которой не замечал прежде, и сделать эту указанную другим правду своим задушевным делом — таково существенное качество истинно замечательных исторических деятелей<sup>29</sup>

Люди, о которых мы говорили, были призваны играть действительно важную роль в развитии нашего общества; принципы, их одушевлявшие, действительно были живы и плодотворны, — потому эти принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться. И действительно, люди соединились с такою благородною искренностью и самоотречением от своих односторонностей, принципы слились в одно общее направление с такою совершенною гармониею, что факт этот принадлежит к числу самых редких и возвышающих душу примеров совершенного торжества общей правды над частными недоразумениями, общего стремления служить истине над личными столкновениями.



Первые чувства были, натурально, недружелюбны: обоюдная исключительность мнений возбуждала взаимную неприязнь. Те и другие были недовольны друг другом и долго удерживались от сношений между собою. Друзья Станкевича осуждали г. Огарева и его друзей за то, что они не предаются изучению немецкой философии и не признают, что вся истина заключена в системе Гегеля. Друзья г. Огарева осуждали круг Станкевича за то, что в нем все мысли направлены исключительно к слишком отвлеченным вопросам, и вопросы жизни или оставляются без всякого внимания, или решаются в том апатическом смысле, как велит решать их Гегель. Одни говорили про других: «они пренебрегают истинными принципами»; эти говорили про первых: «они проповедуют апатию в жизни и примиряются со всеми недостатками действительности, восхищаясь тем, что их система оправдывает все на свете». Различные внешние обстоятельства содействовали тому, что личных сношений — которых не желала сначала ни та, ни другая партия — очень долго не существовало между людьми того и другого направления<sup>30</sup>

Станкевича уже не было в Москве, когда г. Огарев вошел в круг, душою которого прежде был Станкевич, и ввел за собою своих друзей. Если бы Станкевич, кроткий и любящий, был еще между своих друзей, вероятно, сближение произошло бы тогда же. Теперь посредником и примирителем был только г. Огарев. Он один, не имея ни в ком помощников, не успел пересилить противников, каждое свидание которых было жарким спором. Вследствие одного из таких споров, когда Белинский на все вопросы, имевшие целью вынудить у него признание, что не все в действительности может быть оправдано разумом, отвечал, с обычною своею неумолимою последовательностью, признанием разумности всех тех явлений, на которые ему было указано, — вследствие этого спора, доказавшего невозможность поколебать его убеждения, попытки примирения кончились — на время, как увидим, и на очень короткое время<sup>31</sup>

Между тем попытки эти не остались бесплодны, хотя, по-видимому, привели к полному разрыву. Люди, спорившие с Белинским и его друзьями, были изумлены тою непоколебимостью, с какою встречаются последователями Гегеля самые, по-видимому, неопровержимые возражения против системы Гегеля, — тою легкостью, с какою последователи Гегеля находят вполне удовлетворительный для себя ответ на все, что, по-видимому, должно бы смутить



и затруднять их. Противники результатов, до которых доходит гегелева система, увидели, что Гегеля можно победить только его собственным оружием, и принялись за глубокое изучение этого мыслителя. Они приступили к нему с силами ума совершенно зрелого, с проницательностью, изощренною привычкою к самостоятельному мышлению и богатым опытом жизни, наполненной всевозможными столкновениями, — с запасом твердых убеждений, данных жизнью и строгою наукою. И, как ни трудно устоять против диалектики исполина немецкой философии, — этой изумительно сильной диалектики, облекающей всю его систему броней неразрушимого, по-видимому, единства, — эти люди открыли пробелы и непоследовательности системы Гегеля, увидели погрешности в ее выводах, несогласие принципов ее с результатами, основных идей с применениями, постигли и односторонность принципов, — и могли, наконец, сказать: «теперь мы постигаем все, что постигал Гегель, но постигаем яснее и полнее, нежели он». Таким образом была, по выражению немецкой философии, превзойдена (*überwunden*), очищена от односторонности по смыслу собственных своих основных начал, подвергнута критике и возведена к высшей истине философия Гегеля сильнейшими последователями одного из направлений, между которыми до того времени преградою была система Гегеля. Но глубина и стройность немецких философских систем произвела сильное впечатление на умы тех, которые взялись за изучение философии не столько по расположению к ней, сколько по необходимости открыть слабые ее стороны; сильнейшие из друзей г. Огарева сами получили философское направление; не покидая своих прежних стремлений, напротив, еще более утвердившись в них, они возвели свои убеждения к общим философским принципам и, увидев, как много выигрывают оттого их идеи и в прочности и в стройности, сделались ревностными приверженцами немецкой философии, конечно, уж не системы Гегеля, на которой не могли они остановиться, а новой философии<sup>32</sup>, последним переходом к которой была система Гегеля.

С другой стороны, подобное расширение умственного горизонта совершилось около того же времени и в сильнейших из друзей Станкевича. До сих пор они, как мы говорили, были связаны между собою совершенною одинаковостью понятий и стремлений, так что особенности отдельных личностей исчезали в единстве общего настроения. Характеризуя «Московский наблюдатель», деятель-

нейшим участником и распорядителем которого был Белинский, мы большую часть наших выписок заимствовали из предисловия к речам Гегеля, писанного не Белинским, а одним из тогдашних его друзей<sup>33</sup>, потому что тогда все эти люди писали совершенно в одном и том же духе: разница была только в том, что одни умели писать лучше других, но все, что говорил Белинский, говорили все друзья Станкевича, и, наоборот, Белинский высказывал только то, в чем одинаково были убеждены все. Так продолжалось до приезда Белинского в Петербург. Тут вскоре он сделался совершенно самобытен, и теперь мы должны говорить уже не об общей деятельности прежнего кружка, которого Белинский был только представителем, а о личной деятельности Белинского, ставшего во главе нашего литературного движения и управлявшего этим движением в союзе с новыми сподвижниками, присоединившимися к нему не по духу какого-нибудь кружка, а по самобытному стремлению к одинаковым целям, с сохранением личных особенностей натуры каждого из союзников.

В Москве Белинский, подобно своим друзьям, был совершенно погружен в теоретические умствования и обращал очень мало внимания на то, что делается в действительной жизни. Он твердил, что действительность значительнее всех мечтаний, но, подобно своим друзьям, смотрел на действительность глазами идеалиста, не столько изучал ее, сколько переносил в нее свой идеал, и верил, что идеал этот имеет себе соответствие в нашей действительности, что, по крайней мере, важнейшие элементы действительности сходны с теми идеалами, какие найдены для них в системе Гегеля. Петербург, как известно всем пережившим идеалистический период воззрений, нисколько не удобен для сохранения таких мечтаний. В Петербурге действительная жизнь настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно остаться идеалистом. Петербург, с обычною своею готовностью услужить новому жителю всеми возможными разочарованиями, не замедлил доставить Белинскому обильные материалы для проверки благосклонных к действительности выводов гегелевой системы и внушить ему, что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русскою жизнью. Пришлось отказаться от уверенности, что гегелевы построения — верные изображения действительной жизни, пришлось критически по-

смотреть и на действительность и на гегелеву систему \*. Результатом этой поверки было, для теоретических убеждений — очищение принципов Гегеля от их односторонности, отвержение фальшивого содержания, прилепленного к ним; и вывод новых следствий, в духе строгой современной науки; для жизненных стремлений — отвержение прежнего квиэтизма, разрушаемого действительностью, сохранение высокого убеждения, что разум и правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя мы далеки еще от этого времени. Белинский убедился, что действительность включает в себе очень много ложных и вредных элементов и, посвятив всю свою деятельность водворению в жизни владычества ума и правды, начал неутомимую, беспощадную борьбу со всем, что препятствовало достижению этой цели. Для такой живой натуры, как Белинский, переход от абстрактной идеальности, доводившей до квиэтизма и апатии, к живому понятию о действительности был естествен и легок. Система Гегеля на некоторое время увлекла его своим величием, и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и глубиной истин, заключавшихся в ее основных идеях; но никогда не удовлетворяла она его своим положительным содержанием, он всегда рвался вперед, негодую на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой натуры. Таково же было отношение к Гегелю и других сильных людей между друзьями Станкевича. Из выписок, нами приведенных, можно видеть, чем особенно увлекались они в системе Гегеля, почему особенно дорожили ею. В каждом теоретическом учении соединяются две стороны: от-

---

\* «Москвич очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург, в этом отношении, пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлечется водоворотом призрачной жизни, умел сберечь и душу и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь допихотству, — тому смело можете вы протянуть руку, как человеку. Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, — и вы остаетесь, может быть, с тяжелою грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! самые обольстительные из них не стоят в глазах *дельного* (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина, и притом плодотворная в будущем...» (Статья Белинского «Москва и Петербург» в «Физиологии Петербурга») <sup>34</sup>.

влеченное понятие об истине и отношение этого знания к живой деятельности. Гегель ставит знание первую, почти исключительную целью своей системы; следствия этого знания для жизни стоят у него на втором плане. Этот порядок с самого же начала был изменен сильнейшими из друзей Станкевича; они с самого начала говорили: «философия Гегеля благотворна для жизни, потому надобно изучать истины, ею открываемые» — ясно, что действительная жизнь стоит для них на первом плане, отвлеченное знание имеет уже только второстепенную важность. Люди с такими натурами не могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тем или другим путем, они должны были выйти из зависимости от нее, — и, действительно, вышли, кто тем, кто другим путем. Нас здесь занимает Белинский, и мы видели, что его вывело из безусловного поклонения Гегелю ближайшее знакомство с действительностью, быть двигателем которой всегда стремился и был назначен он.

Прежние споры в Москве с друзьями г. Огарева также имели свою долю участия в расширении взглядов Белинского. Правда, во время самых споров никакие возражения не могли нимало поколебать его веры в безусловную справедливость выводов, представляемых системою Гегеля; напротив, как то всегда бывает с людьми сильными и бесстрашными в своей последовательности, споры только утвердили его в прежнем образе мнений, заставили его быть еще последовательнее и строже в своих понятиях, внушили ему сильнейшее желание настаивать на них и доказывать неосновательность всех сомнений в том, что казалось ему истиною. Некоторые из статей, напечатанных Белинским тотчас по переезде в Петербург, написаны под влиянием этого полемического одушевления, и мнения, принадлежавшие всем сотрудникам «Московского наблюдателя», доведены в этих статьях, которые помещены были в «Отечественных записках», до крайности, возбуждавшей изумление и объясняемой только их полемическим происхождением<sup>35</sup>. Но важно было уже то, что возражения, предложенные Белинскому его московскими противниками, сильно занимали его, не были им забыты. Когда первые порывы полемики миновались, когда сближение с действительною жизнью начало изобличать односторонность прежнего отвлеченного идеализма, Белинский должен был беспристрастнее взглянуть на мнения своих бывших противников, еще так недавно отвергнутые им с высоты идеалистических воззрений. Он увидел, что эти понятия, казавшиеся безусловному последователю систе-

мы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше выдерживают проверку фактами, нежели выводы, предлагаемые гегелевою философиею, и что мыслящий человек ничего иного, кроме этих понятий, не может вывести из жизни. Деятели умственного мира разделяются на два класса: одним истина неприятна, если она прежде их высказана кем-нибудь другим, — они готовы брать привилегию на свои мысли, вероятно, по сознанию того, что производительность их в этом отношении слаба, — другие заботятся только об истине, не считая нужным заботиться о привилегиях, — вероятно, потому, что чужды опасения оскудеть умом и обеднеть мыслями; одни не любят отказываться от своих ошибок, — вероятно, по сознанию того, что все их претензии — самолюбивая ошибка; другие чужды этой щепетильности, потому что истина всегда лежала в основании их стремлений. Белинский принадлежал ко вторым. Он при первом же случае с обычною своею прямою признался, что Петербург научил его ценить воззрения на действительность, о которых прежде он не хотел знать, и что в тех вопросах, о которых шли некогда споры, правда была на стороне людей, отвергавших выводы гегелевой системы, как несообразные с фактами действительной жизни.

Таким образом, исчезли причины разделения, еще незадолго до того времени бывшие препятствием дружному действию лучших людей молодого поколения. Одни, прежде не обращавшие внимания на немецкую философию, сделались теперь ревностными последователями ее, найдя в ее принципах твердое основание для убеждений, которые были приобретены изучением новой истории и современного быта. Представитель другого направления в литературном движении, Белинский, был приведен наблюдением действительности к различению справедливых начал гегелевой философии от ее односторонних выводов, увидел чрезвычайную важность тех вопросов, на которые в кругу Станкевича обращали слишком мало внимания, и удержал из гегелевой системы только те убеждения, которые выдержали проверку живыми явлениями действительности. Все даровитейшие из бывшего круга Станкевича последовали за ним, если не вышли на ту же дорогу самостоятельно \*. Односторонность обоих направлений совершенно сгладилась.

---

\* Читатель понимает, что, говоря здесь исключительно о литературном движении, мы не имеем права упоминать о людях иначе как по

При таком единстве понятий и стремлений должны были сблизиться и люди. Около этого времени возвратился из-за границы Грановский. Чем Станкевич был для своего круга, тем он стал равно для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановского невозможно было не полюбить всею душою каждому благородному человеку. Все, что было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения, соединилось вокруг него. Где был Грановский, там могло быть только одно чувство — чувство братства. Помощником его в этом деле был г. Огарев. Скоро их влиянию подчинились и те, которые жили в Петербурге и провинциях.

Влиянием Грановского, Белинского и других, присоединились к их литературному кругу почти все даровитые люди молодого поколения, уже действовавшие в литературе или выступавшие на этот путь.

Таким образом, из прежних дружеских кругов Станкевича и г. Огарева, с присоединением новых деятелей, составилось одно большое литературное общество, главным органом которого в литературе, до начала нашего журнала, были «Отечественные записки» (с 1840, особенно 1841 до 1846 года); главным действователем в «Отечественных записках» того времени был Белинский. С ним достойным образом разделяли с самого начала честь быть распространителями новых и здравых идей в русской публике некоторые другие люди, о которых мы отчасти уже упомянули, отчасти надеемся сказать, — именно, кроме Грановского, г. Галахов, г. Катков, г. Кетчер, г. Корш, г. Кудрявцев, г. Огарев и другие. Станкевич умер еще до начала этого слияния, Ключников и Кольцов пережили Станкевича лишь немногими годами, как и Лермонтов, который самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению, и только потому, что последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей. Потери эти были вознаграждены присоединением новых людей, которые или примкнули к Белинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны их влиянием. Из них на-

---

отношениям их к литературе. Без сомнения, в тогдашнем русском обществе на различных поприщах деятельности было много людей, замечательных не менее Белинского; положим, что были такие люди и в кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можем называть представителем этого круга только Белинского. Мы вовсе не имеем охоты возвышать Белинского насчет кого бы то ни было — он в том вовсе не нуждается — а только излагаем его литературную деятельность.

добно назвать, между прочим, г. Анненкова, г. Григоровича, г. Кавелина, покойных Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова, г. Панаева и г. Тургенева. Более или менее примыкали к тому же кругу или воспитывались влиянием Белинского или Грановского почти все без исключения даровитые люди нового поколения. Г. Краевский, как редактор журнала, служившего органом деятельности Белинского, Грановского, г. Огарева и их друзей, занял очень почетное место в русской литературе, которая, мы с удовольствием можем сказать это, многим обязана ему была в это время, за то, что он предоставил Белинскому в своем журнале положение сообразное в литературном отношении с преобладающею важностью этого лица для журнала.

Около того же самого времени, когда произошло у нас соединение односторонних направлений в одну общую, всеобъемлющую систему воззрений, подобное явление происходило и в Европе. Немецкие ученые начали сознавать, что жизнь имеет свои права не только над деятельностью, но и над наукою; французские ученые и литераторы стали понимать необходимость глубоко исследовать общие понятия, о которых до того времени мало заботились. В той и другой стране прежние односторонние учения стали уступать место новым идеям, которые уже не принадлежали исключительно тому или другому народу, а равно были собственностью каждого истинно-современного человека, в какой бы стране он ни родился, на каком бы языке ни писал. Такое направление умов во всех странах образованного мира к одинаковым воззрениям на все существенные вопросы служило сильною поддержкою единства стремлений у всех истинно-современных людей в каждой стране. Так и у нас, изучением новых явлений, возникавших в умственной жизни главных народов Западной Европы и, при всем различии своего происхождения и формы, проникнутых совершенно одним и тем же духом, укреплялось единство понятий, которыми связывались люди с современным образом мыслей.

Но единство понятий и людей у нас только укреплялось, а не рождено было внешними влияниями. Деятели, стоявшие тогда во главе нашего умственного движения, конечно, ободрялись тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили, что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю разрозненность, совершился у нас самостоятельным



образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми вполне самостоятельными в умственном отношении.

Этот факт — самостоятельность, которой достигла русская мысль в Белинском и главных его сподвижниках, интересен не потому только, что приятен для нашей народной гордости: он важен в истории наших литературных мнений потому, что им объясняются некоторые отличительные качества трудов Белинского и его союзников, — качества, которых прежде не имела наша критика; им отчасти объясняется и быстрое распространение литературных мнений Белинского в нашей публике.

Человек, мысль которого достигла самостоятельности, определительностью своих понятий и верностью их приложения всегда превосходит тех людей, которые следуют чужим понятиям, не будучи в состоянии подвергнуть критике принципы, которых держатся. До Белинского наша критика была отражением то французских, то немецких теорий, потому вовсе не имела ясности и определенности в своих основных воззрениях, а при оценке существенного смысла и достоинства литературных явлений, если высказывала много верного, то почти всегда или оставляла многое недосказанным, или примешивала к верным замечаниям странные недоразумения. Вообще, мнения лучших критиков, предшествовавших Белинскому, очень скоро, в течение каких-нибудь пяти-шести лет, оказывались устаревшими, неосновательными или односторонними. Так, «Телеграф» был основан в 1825 году, а в 1829 году человек, читавший статьи Надеждина в «Вестнике Европы», уже не мог без улыбки думать о «высших взглядах» Полевого, не мог не убедиться, что Полевой слишком неудовлетворительно понимал значение важнейших явлений в современной ему русской литературе. Суждения самого Надеждина представляют странный хаос, ужасную смесь чрезвычайно верных и умных замечаний с мнениями, которых невозможно защищать,



так что часто одна половина статьи разрушается другою половиною. Напротив, суждения Белинского до сих пор сохраняют всю свою цену, и верность их вообще такова, что люди, восстававшие против него, почти всегда правы были только в том, что заимствовали у него же самого. В последние годы у нас много говорили о неудовлетворительности понятий Белинского; в числе этих эпигонов, воображавших, что пошли далее Белинского, были люди умные и даровитые; но нужно только сличить их статьи с статьями Белинского, и каждый убедится, что все эти люди живут только тем, чего наслушались от Белинского: они толкуют вечно только о том же самом, что говорил Белинский, и если толкуют иначе, так это только потому, что вдаются или в односторонность, или в очевидное пристрастие<sup>36</sup>. Со времени Белинского материалы для истории литературы деятельно разрабатываются; но вообще, каждое новое исследование ведет только к новому подтверждению суждений, высказанных им.

Самостоятельность его мысли была также одною из главных причин сочувствия, с которым принимались его мнения. Слабая сторона людей, повторяющих чужие мысли, состоит в том, что большею частью они толкуют о предметах, не возбуждающих интереса в публике. Правда всегда правда, но не всякая правда везде и всегда равно важна и равно способна возбудить внимание: у каждого века, у каждого народа есть свои потребности; то, что интересно немцу, часто бывает вовсе не интересно французу или русскому, потому что не имеет прямого отношения к потребностям его жизни. Надобно говорить о том, что нужно нашей публике в наше время. Прежде наша литература слишком часто говорила о предметах, имеющих для нас слишком мало интереса, служа не столько выразительницею наших собственных мыслей, не столько разрешительницею наших собственных недоумений, сколько отголоском чужих суждений о чуждых нам делах. Белинский всегда говорил о том, что слышать нужно и интересно было именно той публике, которой он говорил.

В следующей статье нам должно будет излагать его деятельность в пору зрелого развития. Характеризуя литературные воззрения Белинского, мы будем обращать главное наше внимание на его позднейшие статьи, потому что до самой смерти своей этот человек шел вперед, и чем далее, тем полнее и точнее выражались его мысли; и, конечно, мы должны будем принимать в основание своих

соображений самое зрелое их выражение. Но прежде нам остается обозначить путь, которым шло развитие его воззрений с того времени, как начали появляться его статьи в «Отечественных записках», до той высоты, на которой застигнут он был смертью. В нескольких словах существеннейшая черта развития критики Белинского с 1840 года может быть определена так:

Критика Белинского все более и более проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явления этой жизни, все решительнее и решительнее стремилась к тому, чтобы объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием.

С каждым годом в статьях Белинского мы находим все менее и менее рассуждений об отвлеченных предметах или хотя о живых предметах, но с отвлеченной точки зрения; все решительнее и решительнее становится преобладание элементов, данных жизнью.